

КАРХАЙМ: ПРАВО НА ЖИЗНЬ



Михаил Филатов

Право на Жизнь

«Автор»

2026

Филатов М.

Право на Жизнь / М. Филатов — «Автор», 2026

Они пришли из глубин космоса неожиданно, тогда, когда все мы продолжали свои мелочные склоки. Потом... Именно всё после, и стало тем самым - Потом. И та, кто искала саму себя, встала на путь без возврата. Путь, который ей суждено пройти так, чтобы не было сожалений в будущем. "Истина в устах слабого - подобна смиренному попрошайничеству. Чтобы защитить свой Мир: Его приходится защищать кровавыми войнами. Это не меняется, никогда."

© Филатов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Михаил Филатов

Право на Жизнь

Глава 1

Арамашево 1993. Воспоминания.

Деревенский дом держит тепло хорошо. Зимой сюда пытается пробиться холод через мелкие щели, прячется под половицами, дышит сквозь рамы, но Дмитрий конопатил, мазал варом, и стены всё равно держали тепло как и положено там, где есть настоящая русская печь. Летом наоборот: жара снаружи, а внутри приятная прохлада. Сейчас август, и я сижу у окна в этой прохладе, слушаю, как за стеклом шумит липа.

Деревня живёт медленно. Собака лает где-то на другом конце улицы два раза, потом молчит. Слышно, как Нюра Пахомова гремит ведрами у колодца. Скрипит калитка. Потом снова тишина, только липа.

А я сижу и смотрю на нож, лежащий на столе.

Он не мой. Точнее, теперь мой, но это не меняет дела. Финка с наборной рукоятью из бересты и латуни, клинок матовый, без блеска. Дмитрий носил его за голенищем всю жизнь, и в те годы, о которых не говорил, и потом, когда стал просто старым человеком в деревне Арамашево. Когда я спрашивала, зачем ему нож в деревне, где из опасного только пьяный Колька с соседней улицы, он только усмехался и говорил - привычка. Так же, иногда говорил - от привычек не избавляются. С ними умирают.

Он так и умер, а его нож лежал на потемневшем от старости столе у кровати.

Я не ношу его с собой в деревне. Слишком узнаваем, слишком много значит. Я просто держу его здесь, у окна, и иногда смотрю на него так же, как он смотрел, должно быть, без сентиментальности, просто видя предмет. Рукоять потемнела в том месте, где большой палец ложится естественно, след от долгих лет, когда палец ложится там постоянно, год за годом...

Эту историю он рассказывал мне несколько раз.

Не как сказку на ночь, не для того, чтобы я что-то поняла или усвоила. Просто иногда за ужином, а когда вечером у печи разговор сходил на нет, и оставалось только молчание с треском огня, он говорил, как будто вспоминал вслух. Каждый раз чуть иначе. В первый раз, коротко, почти без деталей: заметил, подошёл, взял, привёз домой. Через несколько лет добавилось про мороз. Потом, про свет в окне роддома. Потом, про то, что подумал сначала, что кошка.

Не знаю, менялась ли история, потому что память так устроена. Или потому что он каждый раз решал, что мне уже можно знать чуть больше. Скорее второе...

Я сложила руки на подоконнике и легла на них правой щекой. Дерево тёплое, нагрелось за день, и пахнет тем запахом, который всегда дарит что-то такое, чего нет в словах, просто ты понимаешь - Это твой дом. Твоё самое любимое место на земле. За стеклом липа качает ветвями лениво, как будто нехотя. Свет такой, что тени длинные и мягкие, предвечерние, август кончается, и дни уже не такие бесконечные, как были.

* * *

В 1993 году ему было пятьдесят три, и он уже несколько лет как жил в Арамашево.

Декабрь, ночь. Он говорил, такой мороз, что машина не хотела заводиться, и он минут пять стоял у капота, дышал на руки, и выдох успевал стать инеем раньше, чем рассеивался. Не метель, хуже, ясно, тихо, звёзды колкие, и этот холод без ветра, который забирается под всё и

сидит там, как будто он всегда там был. До Арамашево от города было минут сорок - пятьдесят, если быстро по прямой летом, и если трасса чистая. Той ночью дорогу подморозило, и он ехал медленно, потому что ехать быстро в гололёд на пустой дороге, это не храбрость, это глупость, а он глупостей не делал. По привычке.

Роддом он проезжал краем, не мимо центрального входа, а задворками, там, где дорога срезала угол между забором и старой котельной. Фонари у входа горели через наледь, жёлтые, размытые, как масляные пятна на воде. Он это замечал всегда, каждый раз, когда проезжал, не потому что интересно, а потому что глаз фиксировал освещение автоматически, как фиксировал выходы, тени, углы. Тридцать лет профессии не лечатся.

Свёрток он увидел краем зрения.

Не сразу понял, что это. Ступени крыльца, снег счищен, но нанесло по краям, и на этом сером фоне, что-то тёмное, неправильное. Машина уже прокатилась мимо, метра три, может четыре, когда он нажал на тормоз. Плавно, резко на льду нельзя.

Он говорил, что вышел посмотреть не потому, что догадался. Просто аномалия. Что-то лежит там, где не должно быть. Мозг не строит версии, пока глаза не получили данные. Это тоже привычка, и от неё не избавляются. Он подошёл.

Свёрток был замотан в байковое одеяло, синее, со стёршимися белыми полосками по краю. Плотно, но не туго. Снизу под одеялом, ещё что-то, он потом разглядел: пелёнка и газетный лист, видимо для тепла, хотя газета в мороз не держит тепло совсем, это была скорее жалость, чем расчёт. Одеяло примёрзло к ступеньке с одного угла, значит, лежало уже какое-то время. Он не знал, сколько. Мог прикинуть по степени примерзания, но не стал.

Он услышал раньше, чем тронул.

Я спрашивала его однажды: - что ты почувствовал, когда услышал?

Он подумал недолго, секунды две, и сказал - ничего особенного. Просто понял, что живое. И что живое в такой мороз не переживёт ещё час.

Он взял.

Не поднял осторожно, не склонился сначала и не размышлял, просто взял, как берут предмет, который нужно переместить. Он говорил: я не думал. Просто взял. Я верю ему. Я сама так часто делала, когда думать некогда или когда думать бессмысленно, потому что правильное действие очевидно, а всё остальное, потеря времени.

В машине было немного теплее, чем снаружи. Он положил свёрток на пассажирское сиденье и размотал край одеяла, чтобы посмотреть.

Он говорил: - она не кричала. Не спала, глаза открыты, смотрела. Куда именно, в темноту ли потолка или в его сторону, он не понял, новорождённые так смотрят, что не разберёшь, видят они или нет. Но не кричала. И это его остановило, не разжалобило, не тронуло, именно остановило, как останавливает неожиданная пауза в том месте, где ждёшь звук.

Он просидел так, наверное, с минуту, машинально увеличив обороты у печки.

Печка в машине чуть погодя, стала гнать тепло сильнее, сначала просто тёплый воздух, потом немного горячее. А она моргнула, один раз, медленно. Он посмотрел, и замотал одеяло обратно. Потом развернул машину обратно в деревню, домой.

Никакого объяснения, ни вслух, ни внутри. Он разворачивался не в сторону города, где был роддом и где можно было сдать найдёныша обратно в систему, а в сторону деревни, и это было всё. Обратно он ехал почти ровно час с небольшим, по обледенелой трассе, за окном темнота и сосны, и этот маленький свёрток на соседнем сиденье, который молчал всю дорогу.

Он говорил, что не думал, что будет делать дальше. Это я склонна считать неточностью, Дмитрий всегда знал, что будет делать дальше, это было базовым условием его существования. Скорее всего, он просто не объяснял себе вслух, потому что объяснения ему не требовались. Решение было принято в тот момент, когда он развернул машину. Всё остальное, детали.

Деревня встретила его темнотой и тишиной. Декабрь, третий час ночи, Арамашево спит. Он заехал во двор, заглушил двигатель.

И тут она заплакала... Первый раз за всю дорогу, как будто ждала, пока они приедут туда, где отныне будет её дом.

* * *

Деревня узнала к утру.

Я не знаю, как, Дмитрий не рассказывал никому, он вообще редко что-то рассказывал. Но в Арамашево люди знают всё и всегда, это закон маленького места, которому нет объяснения кроме самого факта. К восьми утра через двор уже прошла бабушка Нина, она жила через два дома, к ней незаметно не подойдёшь, заглянула в окно со двора, постучала, вошла, не дожидаясь ответа, осмотрела комнату, ребёнка и Дмитрия. Дмитрий стоял у стола с кружкой чая и смотрел на неё без выражения.

Она тоже ничего не сказала, ни откуда, ни чья, ни зачем. Положила на стол тряпичный свёрток, развязала: внутри что-то детское, маленькое, я не знаю что именно, он описывал как «вещи для ребёнка». Потом взяла меня из-под одеяла, тогда ещё просто «её», без имени, осмотрела, как осматривают что-то, в чём нужно разобраться, и сказала:

— Мала. Дня три, не больше. Надо молоко, у Прасковьи есть.

Он кивнул.

Она ушла за молоком. Вернулась с молоком и с Прасковьей, которая принесла своё. Это деревня, помощь приходит без вопросов, это просто происходит, как морозный воздух входит в открытую дверь.

Я думаю, Дмитрий не ждал этого. Он умел планировать сложные вещи, маршруты, выходы, запасные варианты, составлять планы на несколько ходов вперёд, но он не планировал младенца, и не умел никто из его прошлой жизни. Он принёс меня домой, потому что принял решение, и отменить его было невозможно, но что дальше, не знал, а бабушка Нина и остальная деревня, закрыли этот вопрос сами, без обсуждений.

Первые недели она приходила каждый день. Иногда дважды.

Он не просил. Она не объясняла, зачем. Это, наверное, было единственным языком, который они оба понимали без перевода.

Деньги на вещи он добывал через деда Федосеева, тот ездил в Нижний раз в две недели, брал списки, привозил. Дмитрий писал списки плохо: сначала, рассказывал он, написал просто «пелёнки», и Федосеев привёз пелёнки, но не то количество и не тот размер, потому что Дмитрий не знал, что бывают размеры. Потом баба Нина стала составлять списки за него, а он проверял и добавлял иногда что-то своё, что именно, он не говорил, но по интонации понятно, что это были вещи, которые баба Нина не додумывала, потому что не понимала, что они могут понадобиться.

Что не так, он исправлял без слов. Привезли не ту смесь, отдал, заказал другую. Не хватало тепла в детской комнате, что он сделал как мог и как ему подсказали, починил печку, хотя раньше топил в двух других и не думал про эту. Он вообще редко объяснял свои действия. Делал, и этого достаточно.

Я спрашивала его однажды, уже взрослой, наверное лет в семнадцать, зачем он это сделал. Забрал меня. Оставил у себя. Он помолчал. Потом поставил кружку на стол и сказал:

— Чай стынет.

Это не уклонение и не грубость, это его способ сказать, что вопрос неправильный. Или что ответ он не умеет формулировать, а раз не умеет, то и незачем пробовать. Я спрашивала ещё раза два, в разные годы, по-разному. Он всегда уходил от темы, иногда молчанием, иногда

сменой разговора на что-то практическое. Один раз сказал: «Что было, то было», и это было ближе всего к ответу, что я от него слышала.

Я приняла это. Не потому что смирилась, а потому что поняла: он не знает, что сказать, не потому что прячет. Просто у него не было слов для этого. Была только развёрнутая машина в декабре, в сторону деревни, а не обратно, и этого мне было достаточно. Как и того, что именно в тот момент у меня появился Отец. Тот, кто отдал мне всё, молча, не прося благодарности. И этого достаточно, для всего, для любого ответа и вопроса.

Имя он дал мне не сразу.

Это я знаю точно, он рассказал сам, единственное, что рассказал об этом времени по собственной воле. Несколько дней я была просто «она». бабушка Нина, она говорила «девочка» или «маленькая». Прасковья «дитя». Дмитрий «она», когда был вынужден называть, и молчание, когда не был.

— Сколько так? спросила я.

— Дней пять. Может, шесть.

— Почему не сразу?

— Имя, это что-то постоянное, сказал он. — Я не торопился.

Это единственное объяснение, которое он дал. Не «я думал» и не «я выбирал» просто не торопился. Как будто имя было документом, который нельзя подписывать, пока не убедишься, что подписываешь нужную бумагу.

Откуда взял именно Ольгу, не сказал. Я спрашивала. Он пожал плечами: «Подошло». Может, была причина, которую он не стал раскрывать. Может, действительно просто подошло, он смотрел на меня пять дней и пришёл к выводу, что это Ольга, а не кто-то другой. С него бы стало.

Отчество дал своё, Владимировна. Фамилию, тоже. Не потому что оформлял усыновление официально, с этим было сложнее, бумаги тянулись долго, а просто потому что иначе не имело смысла. Он говорил бабе Нине «Ольга», она повторила, и деревня повторила за ней, и это стало фактом раньше, чем стало документом.

Так меня назвал человек, который не умел объяснять свои решения, не просил о помощи, не знал, что бывают размеры у пелёнок, и развернул машину ночью на обледенелой трассе к дому.

Мне кажется, я всю жизнь пытаюсь понять, что именно он тогда решил. И до сих пор не уверена, что поняла.

* * *

В доме было одно место, которое я не понимала до шестнадцати лет.

Деревянный ящик под нижней полкой шкафа, не сундук, не комод, просто ящик с крышкой, которая не запиралась на замок, но всегда была закрыта. Дмитрий никогда не открывал его при мне. Я знала, что там что-то лежит: однажды, лет в шесть или семь, я потянула крышку из любопытства, и ящик оказался тяжёлым — я не смогла. Дмитрий был во дворе. Я не стала звать его на помощь, что-то остановило, не страх, а что-то другое, ближе к чувству, что не надо. Так и оставила.

Потом я выросла. Дмитрий умер. Ящик остался.

Я открыла его на следующее утро после похорон. Там лежали: обойма от пистолета, пустая, с одним патроном, которого не хватало; небольшой нож с деревянной рукоятью, лезвие зачернено воронением до матового; свёрнутый шнур, тонкий, прочный, не бельевой; четыре фотографии без подписей, лица мне незнакомые. И больше ничего.

Ребёнком я бы не поняла, что это такое. Повзрослевшая Ольга поняла сразу: это не хлам, не память о вещах. Это инструменты, сохранённые потому, что человек никогда не мог быть уверен, что они больше не понадобятся. Он просто убрал их подальше, и не выбросил.

Вот тогда я в первый раз подумала, что он, возможно, знал лучше меня. Или хотел, чтобы я сама пришла к этому, без его объяснений.

Деревня знала. Это я поняла не от Дмитрия, а от бабушки Нины, и не потому что она решила говорить, а потому что проговорила. Мне было лет двенадцать; мы сидели на её кухне, Нина толкла что-то в ступке и рассказывала без особого повода что-то о старых временах, о том, как деревня жила при советских, о мужиках, которые уезжали и не возвращались. Потом она сказала, не глядя на меня:

— Митя тоже уезжал. Надолго. Куда — не говорил.

Я спросила - зачем?

— По работе, сказала она. — Такая работа была. Не спрашивали.

Она помолчала, потолкла. Потом добавила, уже тише - Он хороший человек. Был. Есть. Просто жизнь у него была не простая.

Больше она не сказала ничего. Я не переспросила. Двенадцать лет, это уже достаточно, чтобы понять: взрослые, когда говорят «не спрашивали», имеют в виду, что знали, но предпочли не знать.

Потом были другие разговоры, мелкие, косвенные, какие бывают в маленькой деревне. Кто-то обронил «государственный человек», кто-то «при Советах таких держали». Я складывала это в голове, не торопясь. Картина собиралась медленно, как пазл, который никто не высыпал на стол, а просто время от времени подкладывал ещё один кусочек.

Сам Дмитрий не говорил ни разу. Ни намёка, ни оговорки.

Я помню одну осень, мне было лет десять, может одиннадцать. Дмитрий сидел за столом и чинил замок от входной двери. Замок был простой, советский ещё, с тугим механизмом, он давно скрипел, и Дмитрий наконец разобрал его. Я сидела рядом, делала уроки, смотрела краем глаза.

Он работал без лишних движений. Не примерялся, не переспрашивал у детали, просто делал: разбирал, протирал, собирал. Пальцы двигались точно, мелко, без суеты. Я наблюдала некоторое время, потом спросила:

— Ты всегда умел чинить вещи?

— Умел.

— Где научился?

Он не поднял голову.

— На работе.

— На какой работе?

Он чуть помолчал, прежде чем ответить. Потом сказал:

— На разной.

Замок щёлкнул, Дмитрий проверил ход, кивнул сам себе и начал собирать назад. Разговор был закрыт. Я тогда пожала плечами и вернулась к тетради.

Теперь я знаю, он не уклонялся. Просто не видел смысла говорить то, что я ещё не могла правильно услышать. Это не скрытность ради скрытности, это что-то другое, ближе к педагогике, хотя он бы засмеялся, если б я произнесла это слово вслух. Он ждал. Не когда я спрошу правильное — а когда я буду знать достаточно, чтобы ответить себе сама.

Я так и не спросила снова. То ли забыла, то ли поняла, что не надо.

Об Арамашево я думала по-другому, долго, уже будучи взрослой. Деревня на Урале, не на трассе, не при заводе, просто деревня. Дома, огороды, речка Реж. Дмитрий приехал сюда не потому что родился здесь: я знала это точно, бабушка Нина однажды сказала «он приехал

ещё когда я была молодая», а молодая Нина, это было очень давно. Откуда приехал, зачем, не говорила.

Но я знаю цену такому выбору. Место без дорог, это не красота и не тишина. Это способ исчезнуть без того, чтобы тебя искали. Это расстояние между тобой и всем, что ты делал раньше. Дмитрий нашёл деревню, которая примет его без вопросов и забудет о нём раньше, чем он сам захочет забыть о себе.

Он сделал из себя никого. Дядя Митя, у которого живёт подобранная девочка. Это всё, чем он хотел быть.

Только ящик под полкой он так и не выбросил.

И меня тоже, оставил.

* * *

Мне было тогда года четыре. Может, пять, я не помню точно, помню только, что было уже не лето: трава жёсткая, дыхание выходило паром.

Дмитрий вышел из сени в куртке, посмотрел на меня и сказал:

— Идём.

Не объяснил куда. Я натянула подшитый бабой Ниной тулуп, одела валенки и пошла следом, в этом не было ничего необычного. Он редко объяснял заранее. Объяснение приходило или потом, или вообще не приходило, и тогда само по себе превращалось в ответ.

Мы шли через огород, потом вдоль забора, потом в лес. Осенний зимний уральский лес не похож на тот, каким его рисуют в книжках, он не нарядный, не праздничный. Сырой, холодный и тёмный, с запахом прели от мокрых листьев, и мокрой коры. Листья уже лежали, берёзы стояли голые. Под ногами хрустело, и я старалась наступать туда, куда ступал он, его следы были глубже, и в них можно было идти почти без звука.

Он остановился на небольшой поляне. Не сказал ничего, просто встал и замер.

Я остановилась рядом.

— Смотри, сказал он наконец, — как я стою.

Я смотрела. Он стоял чуть боком. Ноги на ширине плеч, не шире. Колени чуть согнуты, почти незаметно. Плечи опущены. Голова не задрана и не опущена, прямо, взгляд не сфокусирован на одной точке, а как будто разлит по всему, что перед ним.

— Вот так. Повтори.

Я попробовала. Встала, как стояла, ноги вместе, руки опущены.

— Шире поставь. Не много — вот. Теперь колени.

Я согнула.

— Не так сильно. Просто немного. Да. И не смотри в одну точку, смотри везде.

Это последнее я не сразу поняла. Попробовала скосить глаза в разные стороны, Дмитрий покачал головой.

— Не так. Расфокусируй взгляд. Как будто смотришь на весь лес сразу, не на берёзу, не на куст. На всё.

Я попробовала ещё раз. Что-то щёлкнуло, взгляд вдруг стал другим, мягким, и лес одновременно расширился и придвинулся. Я почувствовала боковым зрением ветку слева, движение где-то между стволами.

— Теперь дыши.

— Я дышу.

— Тихо дыши. Медленно.

Я замедлила. Выдох, длиннее, чем обычно. Лес стал ещё тише. Собственное сердцебиение сделалось слышным, не пугающе, просто факт.

— Хорошо, сказал Дмитрий. — Стой так.

Мы стояли. Я не знаю сколько, в четыре года не умеют считать время точно. Долго. Ноги начали уставать, но я не двигалась, потому что он не двигался, а нарушить это казалось невозможным. Где-то справа пробежал зверёк, я увидела его краем расфокусированного взгляда, не поворачивая головы. Маленький, быстрый.

Потом Дмитрий посмотрел на меня.

Я помню этот взгляд. Не знала тогда, как его назвать, знаю сейчас. Он смотрел так, как смотрит мастер, проверяющий инструмент на пригодность. Без умиления, без одобрения, просто оценка. Пауза, в которой решается что-то важное.

Я не знала тогда, что он проверял. Думала - игра. Думала, он просто показывает мне, как стоять в лесу, потому что это интересно или потому что деревенские дети так умеют. Думала много что.

Теперь я знаю: он смотрел и видел, есть ли во мне что-то, что можно вырастить. Терпение. Способность удержать положение тела без понимания зачем. Умение не требовать объяснений вперёд действия. Это ничего не доказывало, четыре года не срок. Но что-то, видно, было. Иначе... зачем?

Он отвернулся.

— Идём домой.

И пошёл. Я пошла следом. По дороге он не говорил ничего, не объяснял, зачем мы приходили, чему учил, правильно ли я сделала. Просто шёл рядом, не впереди, как взрослый, ведущий ребёнка, а рядом, плечо к плечу, насколько позволяла разница в росте.

Позже я поняла, что это и было его языком одобрения. Не похвала, не улыбка, не рука на голове. Просто — рядом. Просто, как равному. Если он шёл чуть впереди и не оборачивался, это значило одно; если шёл плечом к плечу, другое. Я выучила этот язык раньше, чем осознала, что учу его.

Дома он снял куртку, повесил у входа и пошёл на кухню. Я разулась и тоже пошла. Он поставил чайник.

Всё.

Я долго потом думала, и в подростковые годы, и после, о том, случайно ли он меня подобрал. баба Нина говорила: нашёл у роддома, замёрзшую, брошенную, взял. Это звучит как случайность. Чужая жизнь, чужой выбор, мать, которую я не знаю и не хочу знать, оставила меня в мороз, а мимо ехал человек, который подобрал. Спас. По факту - подарил новую жизнь.

Но сильно позже, я думала иначе: а что, если подобрал, и потом решил, что не случайно? Что посмотрел и что-то увидел, не тогда, у роддома, там смотреть было не на что, новорождённая в тряпках, а позже. Постепенно. Когда было на что смотреть.

Может быть, он просто взял ребёнка, потому что не смог пройти мимо, и всё. А потом этот ребёнок оказался таким, что его стоило учить. И он начал учить. И это превратилось в намерение задним числом.

Разницы, в общем, нет. Результат один.

Он взял меня. Потом решил, что взял не зря. Потом начал вкладывать в меня всё то, что умел сам. И я несла это, сначала не зная что несу, потом зная, но не понимая зачем, потом понимая всё отчётливее с каждым годом.

В тот день в лесу мне было четыре или пять. Я стояла на жёсткой осенней траве, расфокусировав взгляд, и дышала медленно, как он показал, и боковым зрением видела пробежавшего зверька. И не знала ещё ничего.

* * *

Воспоминание уходит не сразу.

Сначала возвращается комната, сумеречная, с единственным окном, за которым небо уже потеряло цвет. Сосны стоят тёмными вертикалями на фоне серого. Деревня не шумит, она никогда не шумит в этот час, только собака где-то на дальнем конце улицы лает редко и без интереса, и этот звук не нарушает тишину, а скорее обозначает её.

Я сижу за столом.

Воспоминание ещё держится где-то на краю, осенняя подмёрзшая трава, запах прелой мокрой хвои, листьев и коры, боковое зрение, в котором мелькнул зверёк. Я позволяю ему уйти. Не отгоняю, не удерживаю. Оно само тает, как запах дыма, когда выходишь на улицу, только что был, и уже нет.

Я смотрю на свои руки.

Они лежат на столе ладонями вниз, и в полутьме я вижу то, что давно перестала замечать: костяшки немного утолщены, не грубо, но заметно, если знать, куда смотреть. На левой руке, у основания безымянного пальца, тонкий белёсый рубец, давний, почти исчезнувший, я уже не помню, когда и как. Ногти коротко острижены, без следов ухода, просто коротко, потому что так нужно. Правая рука лежит чуть иначе, чем левая, и это тоже не случайность, это годы, тело помнит то, о чём голова давно не думает.

Я убираю руки под стол. Не потому что неловко, а просто... убираю.

За окном собака замолчала.

Небо теперь совсем тёмное, сосны и липы с елями, почти слились с ним, и только ветки держат остаток серого света, мягко, без блеска. Деревня, тихо, не та глухая тишина, а тихой ворчание скотины, где-то кот или кошка говорят с друг-другом, где-то собаки гоняют кого-то или что-то, обычная деревня.

Где-то недалеко, должно быть топят печь, запах дыма доходит слабый, возможно баню протапливают.

Была ли это судьба. Я не выбирала Арамашево. Не выбирала его руки и его машину. Не выбирала ту осеннюю зимнюю траву, и лес, и то, как он шёл рядом, плечо к плечу, если сделала правильно. Я несла это, как несут воздух, не зная что несут, потом, как несут груз, зная про вес, но не выбирая его. Всё, что во мне есть из того, что важно - от него его, деревни. Или момента, когда он не проехал мимо.

Есть ли между этим разница? Между судьбой и решением человека, которому было не всё равно? Я не задаю этот вопрос. Здесь некому отвечать. Просто сижу с ним в комнате, где за окном деревня, и собака больше не лает, и дым ушедший в сторону или вверх, а руки убраны под стол, сижу и не ищу ответа, потому что, возможно... Ответ и не нужен.

Он не проехал мимо.

Всё остальное - Неважно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.